

Глеб Иванович Успенский

# На Кавказе



Очерки переходного времени

Глеб Успенский  
**На Кавказе**

«Public Domain»

1891

## **Успенский Г. И.**

На Кавказе / Г. И. Успенский — «Public Domain»,  
1891 — (Очерки переходного времени)

В конце января 1883 года Успенский выехал на Кавказ, посетил Владикавказ, Тбилиси, Поти, Батуми, Баку. Ленкорань, Астрахань и только в мае возвратился в Петербург. Поездка обогатила писателя множеством новых фактов и наблюдений, связанных главным образом с развитием капитализма в России, положением народных масс и отношением к ним интеллигенции. На окраинах царской России хозяйничанье «господина Купона» было особенно безудержным и свирепым, и Успенский выразительно показывает это в своем очерке.

## Содержание

1	5
2	9
3	11
Конец ознакомительного фрагмента.	13

# Глеб Иванович Успенский

## На Кавказе

*(воспоминания <18>83 г.,  
февраль – март – апрель)*

### 1

Еще недавно у всякого русского «путешественника-литератора» первая глава путевых воспоминаний была всегда посвящена трогательному живоописанию разлуки с родными берегами и с дорогими сердцу друзьями. Вся такая первая глава была написана путешественником «не чернилами», как пишут в крестьянских письмах, «а слезами». Родина, отечество, родные берега были для него так дороги, он так неразрывно был связан с ними, так страстно, всем сердцем, всем существом своим проникся к ним любовью, что «корабль», – носивший всегда какое-нибудь задумчивое и во всяком случае благозвучное название – «Эврианта», «Ретвизан», – уносивший путешественника от родных берегов, казался каким-то бессердечным, жестоким существом, насильно отнимающим путника из жарких объятий близких, дорогих людей и от всего, с чем он сроднился, сросся душою и телом.

Путешественник обыкновенно «едва» не лишался чувств в то мгновение, когда «Ретвизан», наконец, «взмахнет крылом»; только дуновение ветра поддерживало его силы, а все лицо его и все лица дорогих существ, остававшихся на берегу, бывали в момент разлуки «залиты» буквально слезами; сквозь ручьи слез видел путешественник, как остающиеся на родине машут ему платками, шляпами, посылают поцелуи; наконец, и ручьи слез и даль, уже отделяющая путника от родины, мешают видеть ему что-нибудь, кроме неба и моря. Но от самого Кронштадта до Копенгагена он не может отойти от борта и все смотрит в сторону Кронштадта. Затем даже в Штеттине и Гамбурге он пытается устремить взоры в том же направлении, и хотя убеждается, что родина «далеко» и что усилия рассмотреть из Гамбурга Кронштадт напрасны, но мысль о родине во всяком случае не покидает его.

Неизвестно, когда бы мысль эта, наконец, покинула его, если бы на выручку и для начала второй главы не являлась буря. Понемногу да понемногу – сначала «легкая зыбь», потом легкая качка, а там и «шквал», а там, глядишь, и лампой ударило путника, а там, понемногу да помаленьку, придавило его тюфяком, на котором он лежал, мечтая о друзьях и о родине; дальше да больше – и дело разыгрывается не на шутку; после тюфяка и лампы следует удар сорвавшимся со стены зеркалом; немного погодя путешественник «с трудом» вылезает из-под дивана, получил еще удар «евангелием» в кожаном переплете с медными застежками (подарок друга), а высвободившись из этих затруднений и кое-как добравшись до палубы и узнав от капитана, что никакой опасности нет, что это даже не буря, а весьма благоприятный, «свежий ветерок», – вновь ударом огромной волны повергается в глубину каюты и остается в бесчувственном состоянии до тех пор, пока сильнейшие припадки морской болезни не возвратят его к жизни.

И только после всех этих испытаний путешественник решает оставить надежду видеть Кронштадт и начинает наблюдать чужеземные места и нравы. На пространстве трех-четырех томов он добросовестно и всегда заманчиво для читателя описывает города, древности, обеды, картины, внимательных и любезных начальников, оказывавших содействие, и национальный танец, и встречу акулы, и опять нового любезного губернатора, и местных красавиц, и храм, и танец. Но вот у путешественника оканчивается срок отпуска, данный в департаменте, и уже в предпоследней главе он вновь начинает тосковать о родине, а в заключительной у него нет

уже других помыслов, как возвратиться в отечество. День отъезда, который должен наступить такого-то числа, всего через двое суток, кажется ему отдаленным на целые годы; он считает часы и минуты. Наконец начинает считать мгновенья. Наконец едет, но не описывает ничего, все ему постыло. Жадным взором он ищет признаков родины, жаждет родного голоса, родного языка. Вот и Штеттин, вот и Балтийское море. Сердце его стучит, как молотом бьет, когда виднеется Кронштадт. Оно тает в благоговейных ощущениях, когда показывается, наконец, и шпиль и купол Исаакия. Вот и пристань, и друзья, и слезы, но радостные, счастливые слезы! И Морская, и Невский, и Доминик, и звук колокола к вечерне у Владимирской – все это один бесконечный восторг! А вот Николаевский вокзал и отъезд, с кучею счастливейших родных и друзей, в деревню. Начинаются благословенные «тихие» поля, плакучие березы, ивы, нивы, соломенные кровли, пахарь, родной дом, самовар на берегу, удочки в руках, тихая река, соломенная шляпа с широкими полями и... «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!...»<sup>1</sup>

Вот как езжали наши предки, старинные русские путешественники! Теперь не то! Увы! Далеко не то теперь испытывает путешественник: уезжая в чужедальние страны, он чувствует себя точно выпущенным из лазарета или вставшим с кровати после продолжительной болезни, а возвращаясь и оправившись духом и телом, хотя и смутно, но сильно трепещет возможности опять попасть в больные.

Вот и я, путешественник наших дней, испытывал что-то подобное, уезжая если не в чужеземную страну, то в чужелюдную, да и возвращаясь испытывал то же самое.

Не знаю, почему так, но на пути к Кавказу и на пути с Кавказа я ощущал на душе какую-то неисцелимую тяготу и даже как бы отчаяние. Времена ли лет переходные или люди, благодаря этому времени, какие-то половинчатые (в том числе и путешественник, конечно), с помесью старых и новых идей и, следовательно, с помесью в поступках, не знаю, но та публика, которая встречалась на пути от Петербурга до Владикавказа, не давала ни малейшей возможности чувствовать себя хоть сколько-нибудь полегче. Разговор шел вообще о всякого рода «безобразиях», но, в частности, о безобразиях несправедливого стяжания сделался решительно преобладающим разговором.

В прежнее время, бывало, кто-нибудь из мужиков рассказывал, как он ходил в Киев и что видел, или как баба-ведуныя испортила его жену. Попадались и молодой человек, с которым можно было двое суток говорить о том, как, когда и где и в кого он влюбился, и барыня попадалась, рассказывавшая свои романы, и офицер, участвовавший при взятии Гуниба<sup>2</sup>, рассказывал свои похождения и подвиги. Словом, были «разговоры» по человечеству. Несомненно, есть эти разговоры и теперь, но разговор «о безобразиях» все их заглушает, царит над всеми. Вот едет крестьянская семья из Орловской губернии на переселение в Ставропольскую; поговорите с мужиками, и со второго же слова начинается повесть о всевозможных безобразиях: земельных, мирских, «правленских». Со второго слова начинается повесть о том, как староста обворовал, как старшина обворовал, как обворовал кабатчик. Дорожный мастер повествует о подвигах строителей такие чудеса, о которых во сне не приснится, а подрядчик железной дороги, в свою очередь, выдвигает на сцену чудовищные деяния по части наживы дорожных мастеров. Земец не находит слов, которыми можно бы достаточно точно выразить негодование на безобразия администрации, а господин становой пристав рисует портреты земских деятелей в таком виде, что именно можно «удавиться с тоски», если только изображение хоть чуть похоже на правду. «Никто ничего не делает, а все воруют» – вот корень и основание этого разговора, угнетающего всякие разговоры «вообще», разговоры по человечеству.

<sup>1</sup> «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!...» – цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Тишина».

<sup>2</sup> Гуниб – сильное укрепление в Дагестане, взятое в 1859 году русскими войсками. Во время штурма был захвачен в плен начальник повстанцев-мюридов Шамиль.

Кроме того, надобно прибавить, что разговор «о безобразиях» и «возмутительных фактах» почти единственный из разговоров, который общедоступен, открыт для всестороннего обсуждения, договаривается до конца и постоянно имеет свежий и обильный газетный материал, ежедневно сотнями ручьев и речек, газет и газеток, как мутными потоками, разливающийся среди публики поездов, бороздящих Россию; другого разговора, который бы так же без утаек, умолчаний, экивоков договорился до конца и так же бы обильно получил питание, разговора, который бы не заражал, а освежал мысль разговаривающих, я решительно не слышал и не замечал.

Напротив того, мне, да, как я думаю, и не одному мне, множество раз приходилось убеждаться в том, что обыкновенный живой разговор живых людей о живых людских нуждах и желаниях «по нонешним временам» сделался необыкновенно трудным вследствие того, что его поминутно приходится поддерживать искусственно, делать усилия для его продления, зацеплять готовую замереть фразу новой фразой, которую надо уметь поскорей отыскать, чтобы беседа не была прервана мертвым молчанием. В отношении внешней отделки такого разговора, так сказать, техники его, общество наше сделало огромные успехи; никогда на Руси не было так много людей, которые бы умели говорить так складно, умно, закругленно, законченно, словом, «красиво»; но вместе с тем никогда этого рода разговор не страдал присутствием того внутреннего холода, которым он страдает теперь. Отсутствие не только уверенности, а и самой тени мысли *осуществления* того, о чем идет речь, глубоко въелось в самый корень души современного обывателя; землец, разговаривающий о земских нуждах, о деревенской неурядице, о народной школе, гласный думы, трактующий о недостатках и задачах городского самоуправления, наконец, просто отец семейства, говорящий о воспитании, все они говорят так резонно и так литературно хорошо, как дай бог сказать любому, набившему руку на передовых статьях, литератору; да и лучше, несравненно лучше любого современного литератора говорит огромное большинство обывателей; но эта блестящая речь страдает тою же болезнью, которою недугует и речь литературная. Как та, так и другая лишены жизненной энергии, утратили связь слова и дела и отвыкли представлять собственные мысли в реальных, осуществленных формах.

Слушать такие разговоры до крайности тяжело, точно слушать, как «безрукий» говорит (забыв свое увечье), что вот он сейчас протянет руку, возьмет, сделает. Другое дело российские «ордюры»<sup>3</sup>: тут человек может жить вполне и видеть «на деле» осуществление своих мыслей, удовлетворение своего негодования. Вот выплыл из тьмы веков какой-нибудь, как гоголевский Вий, заплесневелый и обомшелый хищник; газета пропечатала все его подвиги, и этот разговор не останется пустым звуком. Мы думали и утверждали, что хищника надо покарать, и его действительно карают, и если не нашими руками, то чьими-нибудь, его все-таки на наших глазах и согласно нашему мнению тащат в Сибирь, в места не столь отдаленные. Других явлений жизни, которые бы так же были ярко и ясно видны, так же были доступны для полного и всестороннего обсуждения и давали бы возможность видеть на деле осуществление ничем не стесненного общественного о них мнения, я не знаю.

Нет такого другого общественного вопроса, общественного дела, которое бы могло быть так же правдиво, просторно и свободно обсуждено и осуществлено на деле, как осуществляется на Руси во всех формах своего развития всякое «ордюрное» дело. И немудрено, что «ордюрный» элемент разговора преобладает и глушит все другие элементы общественной беседы; немудрено, что об «ордюрах» говорят и мужики, и купцы, и чиновники, и земцы, и думцы, словом, люд всякого звания и состояния. Настанет, никто не сомневается в этом, время, когда слова «хищение» и «острог», целыми годами сосредоточивающие на себе свободное внимание общества и свободное общественное суждение, не будут почти единственным исходом для удовлетворения общественной жажды к проявлениям справедливости. Будут царствовать в

<sup>3</sup> «Ордюр» – ordure (франц.) – сор, нечистоты, грязь.

общественном внимании другие, не такие мрачные темы, и желание справедливости в человеческих отношениях найдет возможность проявляться в иных, мягких и благородных формах, и по поводу иных, также благородных дел. Но теперь «ордюр» царит: и аппетит к нему развит более, чем к чему-нибудь другому, и негодование он возбуждает более, чем какое-нибудь другое явление русской жизни. Иногда, право, кажется, что русский человек наших дней не может ни видеть, ни понимать насущнейших нужд времени до тех пор, пока не станет на «ордюрную» точку зрения, не расстроит своей печени и вообще, так или иначе, не ожесточит себя.

## 2

Омраченный и даже, прямо сказать, пришибленный такими, только изнуряющими человеческое существо, впечатлениями, я не удивляюсь, что очень долгое время, в начале поездки по новым местам, мои нервы решительно не поддавались впечатлениям тех красот и прелестей природы, которые давно бы очаровали нормального человека.

Владикавказ, низенькие, малороссийского типа домики, утопающие среди высоких, с детства знакомых и милых тополей, близость и величие гор, обступающих его с юга, даже все это не производило того впечатления, которое должно бы было произвести после снегов, трескучих морозов и вьюг три дня назад покинутого севера. «Хорошо! но мне все равно», – вот что говорили расслабленные нервы.

То же самое или почти то же самое говорили они и в то время, когда ранним пасмурным, пахнувшим весенней влагой утром мы, усевшись в почтовой карете, выехали из Владикавказа в горы.

На мгновение только шевельнулось что-то в окаменелой душе, когда кондуктор затрубил в трубу; звук этой трубы пробудил что-то давно, давно забытое, ранние годы детства, и опять все затихло в душе. Чувствовалась жажда тишины и молчания. И эта жажда не покидала и тогда, когда и горы уже подошли к нам, стали к нам лицом к лицу, удивительные, суровые, непонятные каменные тайны. Ни шатко, ни валко, ни шибко, ни тихо, мерно и ровно катится вперед карета, позвякивая железною цепью тормоза; мерно и ровно звучат удары копыт четверки лошадей, и горы обступают нас понемногу и справа и слева. Но все молчит в душе, а ощущения начинают отдаваться, если так можно выразиться, уже на теле.

Начинаешь ощущать, что как будто становишься меньше ростом. Еще недавно, час тому назад, в гостинице во Владикавказе, я как будто был порядочного роста, а тут – что за чудо? – становишься все меньше и меньше! И дилижанс, который час тому назад, выезжая из ворот почтового двора, казался какой-то громадиной, едва мог проехать по улице, не зацепив и не своротив с дороги в канаву проезжавших татарских арб, с длинными двухаршинными дровами; теперь же, что дальше в горы, то он все меньше и меньше, и лошади кажутся маленькими, и скоро весь дилижанс, четверка лошадей, три пассажира, кондуктор, кучер, все это (вы чувствуете это на себе) превращается во что-то крошечное, едва-едва ползущее по какой-то как нитке белой и как нитке тонкой дороге, вьющейся у подножия необычайной громады.

Но уже и в этих физических ощущениях таится доля исцеления духовного; чувствуя сначала свою физическую ничтожность, начинаешь иногда чувствовать физическую боль, точно кто ударит кулаком или мороз по коже подерет: такие «непонятные» ощущения начинают потрясать нервы непонятными фантазиями непонятной матери-природы. Иногда вырывается крик: «Ой!», иногда – «Ах!» и инстинктивное желание спрятаться в угол кареты, иногда бессознательный вопль: «Боже мой, что это такое?» Но все это, именно потому, что решительно непонятно, непостижимо, именно потому, что всего этого нет возможности объяснить, нет возможности ответить себе: «зачем? на что нужна этакая страсть? этакая прелесть, этот ужас?» – все это и вытесняет мгновенно всю ту душевную смуту, которую вы, к несчастью, так долго понимали и над которой удручали свой несчастный «смысл».

Нужен был, однакож, хороший удар по нервам со стороны матери-природы, чтобы окончательно «попирать смерть» этого удушающего человеческого смысла. И такой удар мать-природа не замедлила преподнести нам в самом скором времени. Могу уверить читателя, что удар этот ничуть не хуже того удара зеркалом по голове, который приводил в чувство путешественника старых времен, заставляя его оставить мечту об отечестве и предаться наблюдению ино-

странных людей и дел. Этот «удар» нанесла нам одна из бесчисленных выдумок непонятной природы, которыми полны эти места. Звать эту выдумку «Гудауром»<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> *Гудаур* – населенный пункт на Военно-грузинской дороге у подножия Крестового перевала.

## 3

Еще задолго до приближения к станции, которая носит название «Гудаур», проезжающие начинают поговаривать о нем как о конечном пункте всевозможных дорожных ужасов и затруднений. Ямщики, те прямо говорят: «Там живо пойдет! там, с Гудаура, на парочке свезут живым манером! там уж, с Гудаура, мигом!» Слушая такие успокоительные речи, и сам начинаешь ожидать Гудаура, как места отдохновения.

А отдохнуть уж пора; матушка-природа порядочно-таки надивила своими дивами за время с семи часов утра; нервы поутомились, да и, кроме усталости, приезд в Гудаур означает окончательное избавление от всевозможных неудобств зимнего переезда через горы. Обвалы, «осовы», снега, погребавшие путников, все это предшествует Гудауру, а в Гудауре все это кончается. И как бы для того, чтобы удар, наносимый Гудауром впечатлительности неопытных путников, был сильнее, последняя перед ним станция, самая опасная в зимнее время вследствие снежных заносов и осовов, прошла для нас самым превосходным образом. Дали нам на этой предпоследней станции (забыл и название) возок, открытый, на подобие омнибусов, сзади для входа пассажиров и закрытый спереди и с боков. Видеть ужасы, которые могли открываться впереди нас, благодаря описанному устройству омнибуса нам не приходилось, мы видели только то, что уже благополучно миновали. Месяц стоял в небе; сани ехали по хорошо расчищенной дороге; полозья скрипели, морозец стоял в воздухе; и мимо нас, уходя от нас куда-то вдаль, проползали все самые «страшные места».

Вот ушла «майорша», мрачная, неуклюжая, широкая и плоская горища, снега которой, по рассказам, погребли немало народу; благополучно уплыла другая «страсть господняя», с огромной снежной утробой, выпятившейся над самой дорогой и, кажется, готовой обрушиться от малейшего громкого звука, от кашля, чиха. И она, слава богу, – вон уж куда ушла! И другие страсти ушли также... И вот уже нет никаких страхов, совсем нет; ни громадных вершин, ни пропастей; дорога идет по снежной равнине, освещенной месяцем, равнине, по краям которой виднеются «горки», величины и высоты нашего новгородского леса. И снег скрипит по-новгородски, и даже новгородский разговор начинается, и вое ближе и ближе конец всем страхам и ужасам. Наконец и Гудаур. Тут все кончилось. Тут уж вместо шестерки, восьмерки запрягают пару.

– Тут живо!

– Здесь с одного маху!

– Ну, возись, что ли!

– Ночевать пора... отдохнуть! Поскорей бы в Млеты! Спать хочется!

– Живо довезем!

Пара запряжена в телегу, что возбуждает некоторое недоумение: кругом лежат глубокие снега; но вы так устали за всю эту дорогу, так хотите отдыха и так исключительно думаете об отдыхе, зная, что теперь «все страшное кончилось», что теперь «живо», «одним духом», – что «недоумение» вовсе вас не тревожит и вам ничего иного не рисуется в воображении, кроме теплой комнаты и постели. Вы совершенно покойны (все кончилось!), сон клонит вас и что-то укачивает. Что такое укачивает? И почему колеса, скрипевшие по снегу, гремят по камням? Открыв глаза, вы замечаете, что равномерные покачивания то в одну, то в другую сторону происходят от слишком частых поворотов. Едва выехали со станции, как круто повернули и, пробежав пяток шагов, опять так же круто повернули вправо, потом ту же минуту влево, и опять ту же минуту вправо, и так беспрестанно: то вправо, то влево, и круто, почти под острым углом, и всегда под тем поворотом, который только что успели проехать.

– Отчего это так вертит телегу?

– Здесь спуск... – спокойно отвечают вам. – Станция-то – вон она... видите, чуть-чуть, «черненькое» внизу? Туда вертикально одна верста, а с поворотами семнадцать... Здесь шестьдесят восемь поворотов... Спуск с высоты трех с половиной тысяч футов.

«Черненькое», которое вам указывают, вы не видите, но видите, что находитесь на страшной высоте, плоской и вертикальной, как стена буквально, и спускаетесь маленькими поворотами направо и налево по дороге, которая прилеплена к этой стене, как полки для посуды к стене кухни. «Тут живо пойдет! единым духом!» – почему-то вдруг вспоминается вам, и вы с ужасом представляете себе ту бездну, в глубину которой вас мчат «единым духом», поминутно раскатывая колесами на поворотах, точно полозьями саней.

Чтобы иметь представление о том неожиданном ужасе, который вдруг, неожиданно-негаданно, после того как уж «все кончилось», как молния поражает вас, когда вы неожиданно узнаете, на какой дьявольской высоте вы находитесь и в какую бездну вы стремитесь, – необходимо сделать некоторое сравнение. Голая цифра 3500 футов не дает вам представления об этой высоте. Но если я скажу, что Исаакиевский собор в Петербурге имеет (если не ошибаюсь) только 350 футов, то высота Гудаура, с которой вам приходится съезжать, это 10 Исаакиевских соборов, поставленных друг на друга. Теперь представьте себе, что вы, на парочке, «живой рукой» спускаетесь с высоты купола этого десятого собора, и в огромной, нескладной почтовой телеге, беспрестанно виляя с этим нескладным экипажем направо и налево, то есть беспрестанно ставя его боком к отвесу (как ставите вы ногу, поднимаясь на кругу) стены, к которой прилеплена дорога, местами не высеченная в скале, а буквально прилепленная к ней искусственным образом. Отвес, к которому приклеена дорога, так крут, что вы не видите даже дороги, по которой будете сейчас спускаться после первого поворота: она приклеена как будто глубже подножия того перегона, по которому едете вы теперь. Спускаясь с самой вершины горы, с купола ее, вы делаете беспрестанные повороты, точно размахи маленького маятника; намучившись такими размахами своего экипажа и своего тела, вы начинаете замечать, что размахи как будто увеличиваются и точно с каждым поворотом становятся больше и больше. Тут вы уж начинаете замечать и полотно дороги следующего за поворотом участка, но и это не утешение. В сумраке какого-то тусклого подслеповатого месяца, в сумраке ущелья (здесь хребет гор как будто дал долевую трещину, причем одна половина, южная, как бы откачнулась немного; вы спускаетесь по северной, прямой, как стена) этот предстоящий вам за поворотом путь, на этот раз уже длинный и как стрела прямой, кажется также совершенно вертикально опущенным сверху вниз; белая лента дороги висит, как белая холстина на заборе, и вы с ужасом спрашиваете себя: неужели мы поедем по ней?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.